

Ёла, Евгений Замятин

Двухнедельные тучи вдруг распоролы как ножом, и из прорехи аршинами, саженьями полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно блеснул океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось все больше, они скликали всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, побежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной площадке над собою он увидел десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштень у норвежской ёлы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки — прочный, смолёный, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:

— Теперь мы ожидаем, что уж придет. После строма оно должно приходить.

У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот — лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней — но не успел. Он увидел то самое, чего все искали: недалеко от берега легкие водяные вихры прокалывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые — и еще, и еще — вся вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал:

— Играет...

Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, впереводку, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.

Через минуту все становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на оголтелых шнырявших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбаса. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе играла селедка, киты загнали ее сюда из океана, люди и чайки торопились хватить ее — она могла уйти в океан так же быстро, как пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений остров, надо было догонять ее — догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил — как будто спокойно. Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни ёлы, он нанимался к другим, кто ходил промыслять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человеческим соком — и, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится.

— Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.

— Хоть дожить, поглядеть, — сказала она и стиснула, повернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток — из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту все могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-коровьи, дыша.

— Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, — сказал он.

— Сколько? — спросил Цыбин.

— По пятнадцать с пуд.

— Двугривенный — меньше не пойду. Клаус задышал еще громче, побагровел, потоптался и молча зашагал дальше — к Тююлинской избе. Цыбин не двинулся с места, только под скулами на лице у него проступили крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная: ставкой была цыбинская ёла. Если Сашка Тююлин проспался после вчерашнего, так ясное дело — Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда — прощай, ёла. Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось, в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца.

— А если Клаус не вернется? — сказала Анна. Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и ёлам. На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходит в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

— Хм... До зимы, пожалуй, дотянут... — сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне — и освирепел. Ну, чего стоишь? Чего пялишься? — закричал на нее.

В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.

— Согласно. Идем... чшорт! — сказал он сердито. У Цыбина внутри стало быстро, горячо. «Ёла»... — екнуло сердце. Он встал.

— Ну, идем... — сделал шаг — и не вытерпел, заорал вовсю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял его.

— Ты что? С ума сошел? — еле продышал. Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот рукою по обшивке:

— Эх, Клаус, посудина у тебя! — и прибавил: — Ну, ничего...

А в этом «ничего» и было все. Наполовину игра была уже выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря — и тогда... Тогда — ёла, тогда новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое — как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними — вдруг спрятал селедку, нигде не видно было кипеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов.

Лепная ёла старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бота. Короткий, раскорячивши корневища-ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

— Черти-и! Шлепалы-ы! Машинами своими всю селедку распугали! Назад, назад ворочай — она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь, взят галс — и паруса уже белые, под лопухими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлычет.

Но едва успели повернуть — как селедка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, шурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир — и люди и птицы стали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Ёлы и два моторных бота стали у переймы, в губу с сетями побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их уже грузными, богатыми, с трудом. Бечевка до крови резала Цыбину руки, но чем больше было рукам, тем ему было шире, радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал — день сейчас или ночь. Солнце все время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все забыли о том, что нужно есть, спать — только вытирали крепкий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ведерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые поворачивались под солнцем чайки, кричали по-ребячьи, летели за карбасами, не отставая. Грузные, медленные, похожие на возвращающихся из стада, отягощенных молоком коров, карбаса шли назад в становище — сдавать селедку в магазин, еще живую валить ее в чаны, засыпать солью.

— Эй, Фомич, у вас сколько? — мокрый, белозубый, пьяный, счастливый кричал Цыбин с берега вниз.

— Пудиков триста е-есть!

— Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пятьсот перевалила-а!

Где-то вдали, — а может, и тут же, рядом, Цыбину как во сне мелькнула Анна, у ней на пальце было серебряное кольцо, она что-то протягивала в руке — должно быть, хлеб, Цыбин отмахивался: «Некогда, не надо...» И снова греб в карбасе, снова нагибался с сетью, пил теплую воду, вытягивал тяжелый, веселый груз. С соседней шлюпки кричали: «Гляди, ребята, кит, кит!»

Над темной гладью поднялся белый водяной столб, но Цыбин даже не повернул головы — кит для него сейчас был куда меньше селедки.

Селедка продержалась в губе почти четверо суток. Потом вдруг засвежело, подула моряна, тучи пошли все ходчей, в какие-нибудь полчаса запарусили все небо, и селедка прочно села на дно. Только тут все почували, что выбились из сил, подняли якоря и по

ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На бот Клауса пало больше тысячи пудов. Клаус отсчитал Цыбину двадцать червонцев. Это была ёла — это была его, Цыбина, ёла!

Цыбин шел домой. В лицо, в глаза било косым холодным дождем, но он ничего не чувал, кроме ёлы, кроме зажатых в левом кармане денег, кроме счастливого, накрывающего с головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь, бухнулся на кровать и заснул. Во сне он улыбался. Так во сне улыбаются дети, обнявшись с давно желанным и нынче, наконец, полученным в подарок деревянным конем.

Дождя на другой день уже не было, но все еще дул полунощник — сверху от Новой Земли. Вода в губе была железного цвета, скалы черные, на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на кровати. Он знал, что светит солнце и снаружи, и здесь — везде. Потом увидел за окном толстое ватное небо — и все равно: какое-то великолепное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое — и засмеялся. Подошла Анна.

— Ты чего? — спросила она.

Но сказать вслух, словами, было нельзя. Цыбин посадил Анну к себе на колени, взял ее рукою за грудь. Грудь сейчас походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном, а раньше была полная доверху.

— Ну, ничего, Анка, — сказал Цыбин. — Теперь у нас все пойдет...

Он наскорях выпил чаю, съел печеных селедок и побежал к Фомичу. Говорили, что когда-то в драке Фомич одним ударом уложил человека наповал и что лучше его моря никто не знает. Лет тысячу назад такой же Фомич, может быть, на этих же самых каменных берегах, был главою племени. Теперь — его выбирали в восемнадцатом в Учредительное Собрание, его спрашивали — сдавать налог или нет, идти в море или не идти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он сидел у себя в избе без штанов — парусной иглой прилаживал к ним заплату. Вошел Цыбин. Фомич зажмурил правый глаз и остро, по-ястребиному, посмотрел левым.

— Ну, что? — спросил он.

Цыбин конфузливо, не глядя — так же, как он стал бы говорить о любви, рассказал Фомичу, что вот теперь деньги есть и надо скорей заказать ёлу.

— Ёлу, говоришь? — Фомич зажег трубку, помолчал. — Так... А только посудину покупать — это, брат, все одно как жениться. Это надо не торопясь. Это — в жизни раз. Оно, да!

Он снова стал стегать иглою. Стежки были из суровых ниток, медленные, прочные — и также были слова. Да. Заказать ёлу. А где заказать? На казенном заводе? Лапти им плести, а не строить! В Архангельском — там могут. Это оно, да. А только там, как у нас в советском кооперативе — в очередь становись. Год ждать — не меньше. Да...

За окном на скалах каменно сидели тучи, все небо кругом было серое, состарившееся. Цыбину ясно стало: ждать... Ёла уплывала, становилась все меньше, чуть виднелась

вдали. Он вздохнул, встал. Руки у него висели так, как будто вместо кулаков были гири.

— Ну, что ж... спасибо, Фомич. Пойду... Фомич опять одноглазо, по-ястребиному поглядел на Цыбина — и даже не так: в Цыбина, внутрь. Поглядел в сказал:

— Погоди-ка... — Цыбин остановился. — А если тебе не на заказ, а готовую купить? Слышал я, одна сейчас продается...

Сердце у Цыбина застучало, как пущенный в ход мотор. Он уже не слышал даже слов, какие говорил Фомич, но и без слов — как понимают друг друга рыбы — понял все, что надо: ёла стоит в Мурманске, не какая-нибудь, а норвежская, продает ее норвежка с Кильдина, муж у нее недавно помер. Теперь одно: скорей попасть в Мурманск, пока никто не перехватил ёлу — его, Цыбина, ёлу. А пароход на Мурманск, на Вардэ — только через неделю. Перехватят в неделю как пить дать перехватят!

Фомич порылся в серой, спутанной шерсти на лице — и вспомнил:

— А вот — будто Клаус собирался в Мурманск идти. Поршень у него на моторе... Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус молчал, громко сопел по-коровьи. Потом оказал:

— Когда селедка, ты мне двугривенный пуд, но теперь: «Клаус! Клаус!» Но я не вспоминаю. Ты мне помогаешь грузить, и я иду после два дня воскресенья.

Грузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов поднять может! Только бы дожить — только бы скорее дожить. Как пьяный, напинаясь на людей, на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И как пьяный кружил из стороны в сторону ветер, погода была непрочная, вот только что было ясно — и вдруг налетел осенний шквал, все темнело. Темнел и Цыбин: а что если к воскресенью ветер разыграется как следует и Клаус побоится идти?

Но за ночь будто все улеглось. Когда утром в воскресенье Цыбин вышел из дому, небо было чистое, легкое, летнее. И пахло по-летнему: мхами и дымком где-нибудь горел сухой торф. Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее...» Анна вынула заветную коробочку из-под Высоцкого чаю и пошла провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, Клаус и его младший брат, белоголовый Олаф. Цыбин явился в новой, еще не стиранной рубахе, в черном пиджаке. Фомич поглядел на него, потом обмерил одним глазом небо сверху донизу. Внизу, далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич сказал Цыбину:

— Ты куда — в море идешь или нет? Поди кожан надень и буксы. Вырядился — как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принес желтые непромокаемые штаны и куртку. Переодеваться он не стал, не мог: он ехал все равно что к невесте — Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине Клаус поднял кливер и грот, бот бежал быстро — маленькой черной мошкой. Следом за ботом — следом за Цыбиным — летело солнце. Цыбин, обняв колени, сидел на канате возле якоря-храбина. На темном, смоленном лице его рот расцветал, зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей ёле, — о том, о чем не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желтоватым кусочком сахара открылся маяк, а к часу они уже входили в Мурманск. Небо все еще голубое, летнее, было тут изрезано на куски мачтами и трубами. Цыбин среди маленьких, больших, красных, черных корпусов искал ее — свою ёлу.

— Храбрин, храбрин бросай... черт! — кричал ему Фомич, должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял якорь-храбрин и сронил его. В лицо брызнула вода, он утерся.

Долго ждали; гепеушника — получить пропуск. Показали бумаги, сошли на берег. Олаф остался на боте, из кубрика торчала его беловолосая голова. Клаус сопел и шел медленно. Фомич тоже: ноги увязали в сухом месиве из песка и пыли. Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, — чтобы не бежать.

Идти пришлось порядочно: ёла отыскалась только в Базной гавани. Там, среди бокастых, двухмачтовых шкун стояли три ёлы — как тонконогие козы, затесавшиеся в стадо коров. Свою Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у нее был выкрашен желтой, радостной краской, и такая же желтая, будто окованная золотом, сверкала верхушка мачты, а палуба была выскоблена, как в избе пол под праздник. Ёла стояла, и ждала, нарядная, как невеста.

Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он хотел что-то сказать Фомичу и не мог.

Фомич быстро окинул ёлу одним левым глазом, потом крикнул:

— Эй, хозяйка!

Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопотала по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик. Цыбин понял: ёла уже продана, опоздал! Он ухватился за мачту, — может быть, чтобы сейчас изломать ее в куски, потом кинуться на хозяйку в кубрике.

— Продана? — хрипло спросил он у Клауса.

— Она говорит, что она идет сделать порядок на кубрике. Она не продавала.

Цыбин засмеялся, изо всей мочи потряхнул мачту, мачта чуть скрипнула.

— Эх! И крепка же! — закричал он.

— Да уж что там: оно... — сказал Фомич. Хозяйка позвала в кубрик. Она не продала ёлу, она была удивительная. У ней были желтые волосы — как обшивка у ёлы, синие глаза, под глазами темные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой и закуска. Хозяйка налила. Цыбин не дожидаясь схватил и залпом выпил свой стакан. Хозяйка что-то заговорила посвоему с Клаусом, взглянула на Цыбина, засмеялась. Цыбин засмеялся в ответ и на ее руку положил свою — заскорузлую, похожую на лапу какой-то большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

— Ну, что же, спроси у ней, сколько она хочет, — сказал он Клаусу.

— Шестьсот, — ответил немного погодя Клаус. У Цыбина было только четыреста сорок,

больше не было. Но все равно он знал, что ёла будет его должна быть, они ждали друг друга всю жизнь. «Милая ты моя синеглазая пойми ты!» — глазами сказал он хозяйке и прочнее взял ее руку своей.

— Четыреста у меня только и есть, — вслух сказал он.

— Нэй, нэй! — хозяйка вынула руку и опять залопотала с Клаусом. Клаус объяснил: она говорит, что ёла еще совсем молодая, хорошая, таких здесь нет.

— Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, хорошая.

Клаус перевел, хозяйка засмеялась, кивнула Цыбину, налила всем еще. Потом пошли наверх и стали все осматривать: корпус, лебедку, якоря, такелаж, подняли и спустили парус. Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он улыбался — один, себе, руки у него тряслись. Еще какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута — и все это будет его!

Он вылез на палубу. плу теперь чуть покачивало... Фомич левым глазом глядел вдаль: там — чуть приметная полоса, будто где-то, еще очень далеко, бежал пароход, а за пароходом длинный дым. Но солнце вздрало вверх, сломя голову летело все выше, было совсем жарко, летне. Спустились опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:

— Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет. Цыбин набрал воздуха — будто чтобы кинуться с высокого берега в воду.

— Эх... Ну, все равно: ладно! Только пусть сотню подождет до весны.

— Она думает. Она сейчас скажет — и все будет конец... — перевел Клаус ответ хозяйки.

Хозяйка сидела молча и водила пальцем по краю своего стакана. Цыбин слышал, как неслось в нем сердце, как громко, по-коровьи, дышал Клаус, потом как будто на палубе чьи-то шаги. Только он хотел подумать — чьи же это, как вдруг увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. Цыбин, стиснув зубы, выхватил у него нож:

— Ну, ты! Поковыряй у меня еще, попробуй! Хозяйка взглянула, должно быть поняла все, заулыбалась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она сейчас скажет — согласна. Он весь раскрылся, ухватился за нее глазами и ждал, не дыша.

Но тут наверху, в синем квадрате, где была открыта дверь из кубрика на палубу, показались высокие сапоги. В кубрик спускался кругленький человечек в синей вязаной мурманке. Лицо у него было безволосое, пухлое, похожее на булку — неизвестно, мужик или баба. Он тонким голосом спросил:

— Эта самая, что ли, ёла продается?

— Ю... да... пятьсот рублей, — сказал Клаус и опасливо покосился на Цыбина. Цыбин закурил папиросу, спичка в пальцах у него дрожала.

— Даю! — сказал человек бабьим, тонким голосом. Цыбин скрипнул зубами, взглянул на хозяйку. Она молчала. Цыбин поднялся, кинул ножик на стол. Сноса взял его и пошел к трапу. Руки у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с дороги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась мачта с желтой, золотой верхушкой. И покачивалась вся легкая ёла — будто уже плыла, убегала куда-то от Цыбина. Он бросил картуз, и обеими лапами огребая лицо как медведь — сел на лебедку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-медвежьи и по-медвежьи крушить все и ломать. Из кубрика слышались голоса, там продавали его ёлу. Этого нельзя было стерпеть.

Зажав нож в кармане и глотая что-то соленое, он ринулся вниз, в кубрик. Там сразу все замолчали. Человек в синей мурманке встал из-за стола, попятился.

— Ты что? Ты не очень! — крикнул он Цыбину нарочно громко, чтобы подбодрить себя.

— Уходи... — сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пухлое бабье лицо.

— Сам уходи! Ёла не твоя... — человек в мурманке опять сел.

Если бы он не сказал: «Ёла не твоя» — может, ничего и не было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, все хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку так, что захрустело, хозяйка вырвала нож. Человек в мурманке сидел, зажмурив глаза, и растопыренными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжелые руки, как будто подумал одну секунду, потом схватил его толстое, вязкое тело, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, с веселой, злой легкостью поднял и бросил на берег. Тяжело, как тесто, тело шлепнулось о камни.

Все выскочили из кубрика и стояли сзади. У хозяйки были громадные глаза. Клаус сопел.

— Ты убиваешь. Нехорошо... — сказал он.

— Что ж, и убью! — крикнул Цыбин.

Тело на берегу заворчалось, поднялось. Человек, прихрамывая, не оглядываясь, пошел.

Цыбин вынул из кармана деньги, трясущимися руками пересчитал их и сунул хозяйке, крепко упираясь в нее глазами. Она стояла, не двигаясь. Если не возьмет, значит...

— Бери! — хрипло сказал Цыбин.

Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко посмотрела в Цыбина, может быть, — увидела все, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв рот, будто все еще не верил. Вдруг схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал целовать ее щеки, губы, волосы.

— Ты... ёла! Ёла — моя! — кричал он. — Моя ёла! Моя!

Потом опять все пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему казалось — он все понимает, что говорит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал:

— Она тебе говорит, что теперь ёла твоя, а за ёлу она возьмет тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука была холодная, как у мертвой.



Цыбин отодвинулся, встал. Клаус тоже поднялся.

— Пойдем, пора стащить груз с бота, — сказал он. — Потом надо скоро домой.

Втроем — Клаус, Фомич и Цыбин — пошли к боту. Цыбин обернулся еще раз на свою ёлу и смотрел, упиваясь, жадно глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой у нее торчали широко расставленные, острые груди, она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сзади, было совсем ясное, легкое небо, и только внизу, на уровне ее ног, как дымок от очень далекого еще парохода — чуть приметная полоса.

— Н-да... Оно! — сказал Фомич — неизвестно о чем.

К шести часам уже все было погружено, Клаусов бот подошел и стал рядом с ёлой, чтобы взять ее на буксир. Хозяйка с узелочком ушла с ёлы на берег. Цыбин — потный, счастливый, влез в кубрик бота и взял в охапку свою морскую одежду.

— Куда ты? — спросил Фомич. — Одевался бы тут скорее.

— Нет уж, я лучше... у себя на еле... — сказал Цыбин и сам услышал, как он это сказал: «у себя».

В кубрике на ёле Цыбин быстро натянул желтые проолифленные буксы тройные на зад и на коленях, влез в шуршащий желтый кожан. Потом вышел наверх, запер дверь, еще раз обежал свою ёлу. Все было готово к походу, трюм закрыт, прочно принаитовлены якоря. На кромке Цыбин заметил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля — должно быть, ёлу однаждыхватило штормом.

«Ничего! Эта — всякий, шторм выдержит!» — Цыбин влюбленно поглядел на ёлу.

— Давай, давай конец! Не копайся! — кричал с бота Фомич.

Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, понюхала платье, ткнулась носом в руку — и вдруг, поджав хвост, с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные»... вспомнил на секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пошла. Это была его, Цыбина, ёла, и она завтра, и зимою, и всегда — будет его...

— Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь еще налюбоваться, — крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был норвежец, на нем тархтела лебедка. Над водою был виден весь его черный борт и большой кусок подводной части, окрашенной красным: пароход сбросил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на ёлу не положили грузу... — подумалось Цыбину. — Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, все было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер переменялся и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поставить паруса и, глядишь, к ночи —

уже дома, к ночи ёла будет уже стоять на месте, утром все соберутся на нее глядеть... Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич, надвинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, огибали берег из огромных круглых камней, они все выше дыбились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки остановившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену. За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высотой с человека, и над ней, над самым краем, несло солнце. Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот. Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и сказал.

— А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу... — Потом поглядел одним глазом на Цыбина и помотал головой: — Хм... Оно!

— Ничего-о! Ла-адно! — крикнул ему Птабин. Весь он напряжен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ёла шла сзади, чуть вспенивая штевнем воду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Все было удивительное, голубое, прекрасное — и так останется навсегда.

Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверям и закричал:

— Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам — живо!

Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в воде справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть виделся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди была вода, пустыня. На севере быстро выростала, нагибалась все ближе тяжелая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю стены — и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла — и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся — хорошо! — и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Пыбину. Бетер с маху ударил в паруса, бог накренился, покатила и грохнулась в борт бочка, Олаф побежал за ней.

— Куда, куда? Брось... после! — кричал, стоя у мачты, Фомич. — Рифы бери да парусах, поворачивайся!

Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на ёлу: ода шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что все будет хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз, — и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепуганное, почуявшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу.

Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он подумал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сразу стало туго дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер ворвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.

Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:

— Эй, ру-уль! Право на бо-орт!

Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть скорее к берегу все равно куда, чтобы только где-нибудь переждать шторм.

— Что? Боишься? — крикнул Цыбин, держа руль по-прежнему.

— Поговори у меня! Клади руль! — яростно заорал Фомич.

Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем показывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как будто провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой, как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пена.

Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, догнала ёлу, ёла рванула буксир, зарылась в воду носом — и тотчас же взлетела наверх. Одно мгновение она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голову, любовался на нее и шепотом кричал ей: «Так, так, милая ты моя, так!» Потом огромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Олафа, он выплевывал воду и одной рукой сгребал ее с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Бот сейчас был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич взглянул туда одним глазом, как наседка на коршуна. Было ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет паруса в клочья или сломает мачту. — Рони паруса-а! — крикнул он Олафу.

Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать по палубе хоть один шаг — для него было то же самое, что для солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был снова на вершине волны. Совсем низко, над головой, с шумом несло темное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ёла и бот шли на одном уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти не задевал, но этот же ветер быстро гнал вперед порожнюю, высоко сидевшую над водой ёлу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, ёла уже подбежала к корме бота. Сквозь пену Цыбин увидел ее веселые, желтые, будто солнцем покрашенные, бока. «Ах, ты... моя!» — сказал он, радуясь на нее. Она была уже совсем близко и, не останавливаясь, все быстрее неслась к боту, Цыбин глядел на нее.

И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими ногами, животом, всем телом он внезапно почувял — (В сейчас случится что-то ужасное. Он не успел понять, что: все это было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее — ёла с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, ёла отскочила.

— Фомич! Фомич! — сквозь свист ветра отчаянно крикнул Цыбин.

Фомич все видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» — издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало все ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бросить ёлу — его, Цыбина, ёлу — в океане!

Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено, тихо сказал ему:

— Если ты только... Я тебя самого... сволочь! Клаус попятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича — Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное им погудало руля. Клаус закричал плачущим голосом:

— Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас всех пропадет!

Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну — и снова ёла, перепрыгивая через белые гребешки, неслась к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него были плотив стиснуты, но сейчас они откроются и скажут.

Темно, на дне, Цыбин знал Фомич — это судья, и то, что он скажет закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые веревки дождя ёла виднелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно Фомич сказал, не глядя на Цыбина:

— Руби...

У Цыбина перехватило горло, чтобы; не видеть — он зажмурился; поднял топор. И закрытыми глазами тотчас же увидел: серебряное кольцо на руке у Анны; белые водяные вихры от играющей в море селетки, бабье лицо человека в мурманке, хозяйку с желтыми волосатми и ёлу, какой она стояла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не видя, хватаясь за что попало, пошел — все равно куда. Там, где позади него остались все — ударили топором еще раз, еще раз. Ёлы больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через ноги перекатывалась вода, и он видел за бортом круглую, черную воду, так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двойную зимнюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним. Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». — «Я — ничего — ...» — сказал, а может быть, только хотел сказать Цыбин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, взгляделся в серый, хлещущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него блестели.

— Гляди, гляди! — крикнул он Цыбину. Цыбин поднял голову и увидел свею. ёлу. Теперь, без буксира, еще легче резала воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу налились теплым, стали живыми

ноги, руки, глаза, он вскочил... Ёла — тут, она — тут, ему нужно что-то сделать — и опять все будет хорошо.

— Эй, эй! Куда! — услышал Цыбин и потом еще что-то по-норвежски — это, должно быть звала хозяйка ёлы. Потом сейчас же понял: — это Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть еще Фомич, глядя одним глазом на ёлу, круто поворачивает бот, чтобы ёлу пронесло мимо, — чтобы она не задела.

Все это мгновенно падало одно за другим. Нос ёлы мелькнул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на одну секунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою ёлу. Ей как будто это и было нужно: она сейчас же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели ёлу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира глубокой водяной ямой — Цыбина они уже больше не могли разглядеть.

1928 год